

# Роза Муқанова



## ТРИ РАССКАЗА

### РОБКАЯ КРАСАВИЦА

*Шолпан*

Казалось, еще вчера он был свободен от всех желаний, отрешен от всех мирских дел. Отчего же сегодня так заходится сердце, так болит и плачет душа? Не это ли самое сердце повелевает податливой душой? Но может ли Ахан, отравленный хмелем удач и ядом горестей, с лихвой отпущенных судьбой, слушать свое неумное сердце? Нет, теперь он не хочет внимать стенаниям своей души. Прислушайся он к ее зову, и опять бы пришлось гнаться за неуловимой птицей в небе, опять терзаться сердечными муками. А страдания в его возрасте куда больше... Ему ли не знать?

Он сидит, неподвижно уставившись в одну точку. «Жизнь прошла, осталось совсем немного», – говорит ему разум. Но сердце готово вырваться из груди, не внемля рассудку. Кровь, как прежде, ударяет в голову, и не справиться ему с этим буйством крови.

«Нет», – говорит он себе, встряхнувшись и сверкнув огненным взором, подобно готовому взлететь беркуту, с головы которого сорвали колпачок. Нет! Он признавал, что годы победили его, но сегодня он не хочет чувствовать себя побежденным. «Хватит с меня! Должен же быть конец этим мукам!», – с ожесточением и обидой цедит он сквозь зубы. След обиды, скрытой под иронической усмешкой, еще долго остается на его лице, пока не стирается тенью печали и сожаления. Он, безжалостный к недостаткам других, сейчас не жалеет себя, и все метания его томящейся души отражаются в его изменчивом облике.

«Ах, моя милая», – торкнулась в сердце неизвестно откуда подступившая нежность. И повторил вслух: – Милая...

Черные, круглые, как вишенки, глаза ее светятся, готовые затопить своим глубинным светом. Свет их не льется открыто, даря сиюминутное наслаждение, нет, он исходит из глубины глаз, словно говоря: попробуй, разгадай мою тайну, и тотчас пугливо скрывается за опущенными ресницами. Оттого ли, что она прекрасно знает всё, что ее окружает, она чутко улавливает любое чужое намерение. Осторожно поглядывает по сторонам, реагируя на любой шорох, любое постороннее движение, и в эти минуты похожа на красивого, сторожкого птенца



сокола. Боже, может же родится такая красота! Но эта красота не из тех, что утешит, умиротворит, сделает счастливым. Она вошла в Ахана тревожною тайной, то радостно волнующей, то ввергающей в отчаяние.

Ахан борется с собою, с охватившим его чувством, и рад бы открыться, да не смеет даже приблизиться, слово произнести. Чувство к красавице Жамал, беззащитностью своею похожей на нежного, пугливого жеребенка, обжигает его, мысли беспокойно мечутся, он не может принять никакого решения.

«Боже, останови мои обезумевшие мысли», – умоляет Ахан. Не только от других, от себя самого хочет он утаить происходящее с ним. Но тлеющие угли все сильнее разгораются в его сердце, и как тут не вырваться пылающему огню...

Он и предположить не мог, что душа оживет после долгой, наполненной разочарованиями и бедами жизни. В молодости он сам не замечал, как попадал в любовные сети, охотно отдаваясь сердечным страстям. Но то в молодости... Возникшее чувство кажется ему стыдным, бесполезным, пустым.

Ахан боится не своих пятидесяти четырех лет, его страшит, что глаза его, прежде живые и выразительные, потускнели, что пережитые печали оставили на лице неизгладимый след. «Никогда я не испытывал ничего подобного», – удрученно признается он себе с тайным вздохом.

Жамал... Необыкновенна, божественна ее красота. Двигается, словно лебедушка плывет, улыбнется – в улыбке и привет, и запрет. Своим признанием только отпугнешь ее, потом и близко не подпустит. Надо молчать. Умолкну, но не погаснет в душе моей любовный огонь. Знаешь ли ты об этом, милое дитя...

Ахан переменялся к своему решению переехать в Коскол. Зачем отдалился он от людей? Живет в своей хижине, как шаман в одинокой пещере, со своим единственным сыном. Не себя, так Ыбана пожалел бы. Неужели хочешь надеть и на него хомут своей безысходности, увезя подальше от людей?

Боже, боже, мысли раздваиваются, мечутся, не находя сердечной опоры. Я теряюсь, не зная, что хорошо, что плохо, не в силах сделать правильный выбор. Я и сам раздваиваюсь, постоянно ощущая это раздвоение... Мучаюсь и страдаю, сам себя сужу беспрестанно. Воспарю над землей – и тотчас падаю камнем вниз, люблю одну – и тут же влюбляюсь в другую. Почему не довольствуюсь тем, что имею, а вечно тянусь к тому, что недоступно?

И в ту ночь, когда серэ нарушил клятву, данную Актокты, увлекшись Уркией и захотев ее умыкнуть... Не оказалось ли решение, принятое в ту ночь, роковым? Если бы не обидел Актокты, остался верен ей, может, судьба не была бы так жестока... «Ахан!», – тогда этот голос был голосом Актокты, таким ясным, таким глубоким.

– Ахан! – и она вперила в него свой взгляд. – Это правда?

– Да, это правда, – признался он, не скрываясь.

Как правда и то, что она была настоящей гордой дочерью ходжи Тнали. И я посвятил ей песню. Но правда и то, что сегодня ночью я сожму в объятиях другую и увезу ее, сгорая от страсти.

– Почему вы говорите загадками? Значит, вы выбираете Уркию? Так ведь... – почти не дыша, она дрожала всем телом, не в силах унять эту дрожь.

Ахан глядел на нее во все глаза, будто видел впервые. Сколько раз звал он ее на свидания, чтобы остаться наедине! Она же, явно увлеченная им, на обещания

была скупа, сводила все к шутке, заставляла томиться часами в ожидании. Она тянулась к нему, говорила с ним обо всем на свете, но слишком горда и неприступна была эта красавица!

Белолицая, нежная... пышный подол с оборками колыхался в безветренную ночь, она казалась ему ангелом, спустившимся с небес.

Она то и дело приглаживала блестящие свои волосы, разделенные на пробор, почти не касаясь их руками, уже одним этим жестом не соглашаясь с ним. Видно она пришла выразить это свое несогласие, она сердится, она вне себя. Но почему она прямо не заявляет об этом, почему не бросается ему на грудь, не говорит о своих чувствах? За все время их встреч она не сказала ни одного ласкового слова, не выдала себя ни одним нежным взглядом.

– Милый мой, вы оставляете меня среди склок и сплетен, – наконец нашлась она, потупив взор. – Зачем сказали эти слова: «Сколько раз вкушал я мед твоих губ»? Ведь вы выдумали их, ничего не было между нами! Между нами была песня, между нами была тайна, но не было проведенной вместе ночи! Что теперь люди скажут?..

– Это, милая, речь опьяненного чувством мужчины, словесный оборот...

– Не оборот, – возразила она, гневно глядя на него. – Это бессмысленные, грубые слова, которые прилепятся к жизни моей вечным страданием...

И девушка, задыхаясь, резко повернулась и растворилась в темноте. Он понял, что отныне не существует для Актоткы. И хоть скрывала она свои слезы, но горькие слова эти вырвались из самого сердца.

«Как обидел ее!» – опускает глаза Ахан.

Да, это правда: увлекшись красивыми словами, он только теперь осознал, сколь жестокими могут быть эти слова. И, возможно, горький привкус неудовлетворенности судьбой, изводящий ныне душу, порожден той жестокостью? И жизнь его, состоявшая из удовольствий и развлечений, не была ли полна жестокостями, которые он не понимал и не осознавал?

Я сцепился с Баракбаем, который пытался задержать моего Кулагера, обогнавшего триста лошадей в байге на поминках Сайдалы. Я выбрал его перед всеми, не пожалев, решил поставить на место. Опозорил его перед всем народом, думая: он понял свою вину. А он зло свое выместил на Кулагере, погубил его. Ни в чем не повинный мой Кулагер пал жертвой зависти и интриг, погиб от руки негодяя.

«У подлеца и месть подлая...» – вздыхает Ахан.

Он задержал в памяти эти слова, обкатывая их в гортани, вдыхая в них жизнь. Заметил вдруг, что и слово, и мелодия — суть отзвук его души. Страдает душа – отравленный дух рождает печальный кюй, едкая желчь добавляет горечи скорбящей мелодии кобыза, долго звучащей в тишине, то затихая, то снова усиливаясь. Истощена душа – и раздается плач. Плач по Кулагеру.

Чтобы утешиться, Ахан вспоминает Жамал, юную Жамал. И чувствует, как по телу разливается тепло, как к сердцу подступает горячая волна нежности. Оживляясь, лелеет он свое неугасающее чувство.

Зачем ты попалась мне на глаза, милое дитя? Как Бог создает такую красоту, непохожую на всех? Любит ли он свое творение? Не смею взглянуть ей прямо в глаза, лишь издали люблюсь ее силуэтом, лишь издали предаюсь мечтам. Как старый орел с усталым сердцем, нарезаю дальние круги. Совершенно твое лицо, и близко не подпускает смущенный взгляд твоих глаз.

Ты красива, ты чиста. Поэтому, красавица, ты так пуглива и осторожна. Чтобы уберечься от алчных чужих рук, тайком тянущихся к твоей красоте и чистоте, ты и должна быть робкой.

Ахан выбежал из деревянного дома на Косколе. Сердце бьется в груди, как пойманная птица, глянул в сторону гор. Когда из аула приходит дурная весть, сердце его будто чует, рвется из груди, и он не находит себе места. В такие минуты Ахан вскакивает на коня и несется, куда глаза глядят.

Благословенный Сырымбет заключил певца в свои таинственные объятия. И он с готовностью отдается его красоте, наслаждаясь и предаваясь неге. Долго стоит, с любовью всматриваясь в бархатные контуры сопки и тянущегося вдаль холмистого гребня. С наступлением сумерек долина Сырымбета таинственно преобразуется, меняя цвета и очертания. Так краски на девичьем камзоле в солнечных лучах играют разноцветными бликами, а в тени становятся насыщеннее и гуще.

Певец не ездил ранее верхом до Сырымбета. Чаще бродил пешком, наслаждаясь близостью природы, проникаясь душевным согласием с ней. В густой чаще птицы звенят на разные голоса: то ли защebetали, увидев его, то ли это их обычная распевка. Радость переполняет сердце Ахана. Улыбаясь, запрокинув голову, он весь устремляется к соснам, к смеющимся березкам. Хочет увидеть птиц, полюбоваться ими, но не находя ни одной в гуще листвы, довольствуется их вековечной и всегда новой песней.

«Встретить бы Жамал на Сырымбете», – думает он. Ведь здесь он и встретил ее впервые на жайляу Жусупа торе. А когда увидел, обомлел – никогда прежде не встречал такой красоты. Хрупкая, тонкая, как тростинка, черные, как смоль, волосы ниспадают тяжелой волной. Она показалась Ахану лебедушкой, плывущей по зеркалу вод. Он сравнил ее с райской пери Корлыгайын. Ему подумалось: хоть бы никто ее кроме меня не увидел!

Ахан бормочет: будь моей, стань моей, пожалуйста, милое дитя, – а у самого слезы на глазах. Слезы, исторгнутые его сердцем, люди увидели, когда упал его любимый Кулагер. Как он плакал тогда, жалея, что привел Кулагера на байгу, как он плакал, обнимая Кулагера за шею.

«Зачем, зачем надо было мне ехать в Ерейментау? Не знал я, что смерть поджидает тебя. Как прекрасны были твои бока, как стройна была твоя молодая стать, совершенная от холки до тонких лодыжек», – так оплакивал он своего Кулагера. Гордость всех караул-атыгайцев, Кулагер погиб, и он застонал-зарыдал неутешно. С тех пор ни разу не видели люди его слез.

Зачем ты пришел к Сырымбету, Ахан? Истосковался ли по Кулагеру или ищешь красавицу Жамал? Но не хочется тебе покидать Сырымбет!

Жамал тоже стройна и изящна, как Кулагер, красива и горда, как он. Красотою ее можно обжечься, но глаз отвести нельзя. Потеряв Кулагера, он и думать не хочет, что потеряет Жамал. Если она согласится, он украсит ее шапочку совиным пером и наречет своею. Сел на коня Ахан и выехал из Сырымбета, объезжая Сарыколь и направляясь к Косколу.

С наступлением сумерек пустой дом выглядит мрачным. Ыбан, беззаботно бегавший днем вокруг него, играя сам с собою, перешагнул порог и остановился

как вкопанный: отца не было видно. Черная домбра его сиротливо жмет к стене, на которой так же сиротливо висит одежда Ахана.

Куда же он ушел? Может, где-то рядом? Ыбан осматривается вокруг: ни единой живой души. Ыбан еще ребенок, он боится наступающего вечера, когда жилище превращается в страшную пещеру. Боясь зайти в пустой дом, он долго сидит на улице, но отец всё не едет. Дрожь беспокойства охватывает ребенка. Окружающая природа и та не в радость, знакомый мир будто съезжился, потускнел, постепенно исчезает во тьме. Ыбан чуток к красоте, и вкус у него отменный, и ум быстрый. Но у него совсем нет детских увлечений. У него одна забота – оберегать отца. Он хочет позвать: «оооо...тец», но лишь невнятный звук вырывается наружу. Глядя на мальчика, сразу понимаешь, что родичи его по матери – Кожа, потомки пророка; у него высокий лоб, большие круглые глаза, как у доверчивого верблюжонка. Растет, вытягивается, быть ему высоким.

Сердится ли Ахан, хмурится или веселится, Ыбан не сводит глаз с отца. Если Ыбан начинает дурачиться, и Ахан присоединяется к нему, вместе с ним заливаются беспечным смехом, гримасничают, рассказывая сыну жестами о чем-то только им понятном. Он раскидывает в стороны руки, манит его к себе, обнимает. Пряча слезы, скрывая жальщую сердце нежность, просит его поиграть на дудке. Серэ любит игру Ыбана.

Подъехавший к дому Ахан оставил коня и увидел в потемках спешившихся незнакомцев. Что они здесь ночью потеряли? – забеспокоился он в тревоге за Ыбана, которого оставил одного.

– Ахан ага, это мы, – услышался знакомый голос. – У нас новость: Жамал увозят к ее жениху...

– А ты... ты передал, что я просил?

Голос Ахана сорвался от неожиданности, он чувствует, как глаза его наливаются кровью.

– Тогда же передал, Ахан ага, но...

Ахан в напряжении ждет ответа.

– Жамал знает и ваши стихи, и ваши песни! «Пусть он думает о своем достоинстве и не стремится стать моим мужем. Он мой почитаемый старший брат. участь же мужа незавидна: то он на коне, то мы с ним на равных. А старший брат всегда в почете, во веки веков дорог», – так сказала Жамал.

Ахан окаменел от этого приговора.

– Что ж, она дочь знаменитого Жусупа торе, она должна была так сказать. И слова ее значат, что я стар для нее, – уголки губ его подергивает беспомощная улыбка, лицо посерело, будто ему в упор бросили незаслуженное оскорбление.

«Вот оно как... Не нашла для меня доброго слова... А ты-то... что же ты раньше не сказал?» – укололи беспокойные мысли, но он не дал им вырваться наружу. «Стало быть, стар... Что же мне тогда, старуху брать в жены?» – не соглашался он с Жамал.

Самая прекрасная из всех девушек – красавица Жамал! Никогда он уже никого не полюбит! Горела душа Ахана. Тяжелыми вздохами исходил из груди сжигающий ее жар. Он и сам не заметил, как оказался в доме, как рука его потянулась к домбре, и тонкие быстрые пальцы тронули нижнюю струну, потом верхнюю... потом он с силой откинул домбру.

8

Не было никого, кто бы мог его утешить, он терзался, не находя себе места. И вздохи лишь больше растрavляли сердце, снедаемое тоской.

«О, Боже, неужели это ее последнее слово?»

Милое мое дитя, несравненная моя, непохожая на других! Пусть бы вытекли мои глаза, которым дано было разглядеть твою красоту. Пусть бы разорвалось мое сердце, привязавшееся к тебе. Нет бы родиться тебе мальчиком – неразлучными ездили бы по степи, заботился бы о тебе! Но Бог сотворил тебя девушкой, и был ли у меня другой выход, как возжелать тебя в жены?!»

Ахан сидит, уткнувшись взглядом в одну точку, грустит-печалится. Вдруг замечает Ыбана, который, обняв колени, с тоскою смотрит на отца.

«Господи, этот парень все понимает, все чувствует, как он глядит на меня!» – и, отвлекаясь от своих мыслей, Ахан подозвал сына. Мальчику не хотелось подниматься с места, но, чтобы не обидеть отца, он медленно встал, чувствуя отцовскую беду своим детским сердцем. Он положил голову на плечо Ахана и только стал устраиваться поудобнее, как отец знаками попросил его поиграть на дудке.

– Играй! – он обхватил сына руками, шутливо потряс его, лаская. – Хочу послушать, как ты играешь. Ты непревзойденный музыкант! Во всем роду атыгай-караул нет равного тебе. Играй, мой мальчик!

Ыбан заиграл на дудке совсем незнакомую мелодию. Тонкие длинные пальцы так и забегали вниз и вверх. Бог не дал сыну языка, но одарил его необыкновенным талантом. И вот уже то ли в далекой пустыне слышится плач жеребенка, то ли приближается голос кулана, что не может отыскать свою мать, а то вдруг привидится конь с окровавленными от пут ногами, а то вознесется крик птицы, попавшей в силки... Вечною тайной тревожит мелодия.

Но знает Ахан, что этой мелодии не дано зазвучать на два голоса, плач ее одинок. Плывет она в небе, томясь в одиночестве, ищет отзвука, бросаясь то в одну, то в другую сторону, и в тоске зависает, будто прикованная, между небом и землей. Одинокая мелодия...

Широко раскрытыми глазами смотрел Ахан на сына, который, по-мальчишечьи вытянув шею, играет, весь во власти музыки, глядит на отца – и не видит его.

– Что же делать?.. Смирись со своей судьбой... не грусти, – говорит Ахан, желая успокоить его, а сам уже не может сдержать слез жалости и восторга, срывает с головы борик, выставляет вверх большой палец, показывая, как он восхищен:

– Молодец! Ай да Ыбан!

Воодушевленный похвалой отца, тот повторяет сочиненную им мелодию. От их прежнего унылого и мрачного состояния не осталось и следа. Ахан берет руку сына, и, перебирая пальцы, целует их один за другим. Любовь, признательность, глубокое уважение к сыну переполняют его.

«Какая тонкая душа у Ыбана, как он глубоко мыслит... Но умей он говорить, разве не пришлось бы и ему, как мне, страдать от несправедливых ударов судьбы...»

Ахан переменялся. Часто на заре, покидая дом, идет к Сарыколю. Не хочет он быть среди людей. И видеть никого не желает. Кто только не приходил к Ахану, кто не присылал подарков и приглашений с просьбой приехать, спеть свои песни, развлечь народ: пусть просит и берет, что хочет, лишь бы приехал! Но Ахан выслушает и никого не удостоивает ответом. Молча проводит гостя и вновь сидит, уставившись в одну точку.

Охотно беседует Ахан только с Науан-хазретом. Каждое слово хазрета как целительный бальзам на душу; слушает Ахан, и ему становится легче, он знает теперь, чем успокоить сердце. Никаких праздных разговоров нет меж ними, Ахан знает только целыми днями слушает хазрета, берет у него религиозные книги, читает дома. Раньше он не внимал подобным речам, но теперь не променяет их ни на что другое. Ахан восхищается благородным обликом хазрета, его спокойным нравом, молчаливостью. Хазрет не показывает своих чувств открыто: громко не смеется, не скорбит и не печалится. Поднимет голову, поприветствует Ахана, переступающего порог, и вновь погружается в свой мир: подолгу читает, занимается исследованиями текстов. Не знает усталости хазрет. Но других занятий у него и нет. Ахан после каждого разговора с хазретом будто молодеет, силы его прибавляются, дух его крепнет, он и сам становится серьезнее и сдержаннее.

Впервые переступив порог дома Науан-хазрета, Ахан признался: мысли мои в беспорядке, и сознание мое затуманено, хотел бы я набраться ума, хотел бы исцелить свою душу от недуга... «Умрите, пока вы не умерли», – сказал как-то хазрет, просветлев лицом, и добавил, поясняя: человек никогда не должен забывать, что он смертен.

– А разве едины знающие и не знающие? – спросил Ахан.

– Не познавшие Аллаха, не читавшие пророка – темные люди, а те, кто изучил и познал его истину – ученые, – ответил хазрет.

– Чтобы познать Аллаха, надо, наверное, освоить язык науки?

– Поможет острота чувства, чистота его и пытливая мысль, – уточнил хазрет.

– А искусство?

Хазрет улыбнулся:

– Искусство – стремление к красоте. И сказал посланник Аллаха: «Бог любит красоту».

И опять Ахан и хазрет надолго замолчали. Ахан верил, что хазрет поможет ему разгадать то, над чем бьется он целыми днями. Теперь он понимает, что занимавшие его прежде мечты и желания ничтожны, ничего не стоят. Теперь он уверен, что покой душе приходит через познание Бога. Забыл Ахан и свою обиду на судьбу. И от бывшего гнева на неправедных волостных и биев, стяжателей и завистников, невежд и подстрекателей не осталось и следа. Теперь он воспринимает мир со смирением и готов до конца жизни просить прощения за прошлые ошибки и грехи. Просить прощения и поклоняться Аллаху.

«Кажется, что у меня больше грехов, о которых я не ведаю, чем тех, о которых знаю, будет ли мне прощение?» – задумывается Ахан.

Видит муравья, ползущего с тяжелой ношей... пару красных жуков, прилепившихся друг к другу – наверное, влюбленные... Вот зеленый росток пробивается сквозь расщелину. И вспомнил он слова хазрета: «Горы исчезнут – камни останутся, камни исчезнут – будет песок, а песок исчезнет – появится вода. Но живому суждено возрождаться вечно».

«Это правда! – соглашается Ахан, – видел я, как горы стареют, расплзаются и оседают, как черепахи. Видел я и камни, огромные глыбы, которые не в силах были удержаться на вершинах и скатывались вниз, дробились и превращались в песок. Разве не верны слова хазрета?»

Дни проходили за днями, ночи сменялись ночами, но не мог успокоиться Ахан, едва вспоминал Жамал, покинувшую его, вышедшую замуж. Он пытался скрыть свое горе от других, но накатывала тоска, и тогда он брал в руки старую домбру. Не он, а домбра должна была поведать миру о его несчастье. Однажды появилась тягучая мелодия, полная тоски, бережущая душу. Он и сам не заметил, как это случилось.

Не хочет он, чтобы Сырымбет постарел, чтобы рассыпались в прах его камни. Всей душой противится тому, чтобы Жамал принадлежала другому. Сырымбет – украшение земли, а Жамал – утешение для людей, возвысившая их своею красотой. Будут на свете Сырымбет и Жамал – и все будет на этой земле прекрасно.

Тогда почему же земля предков, наш Сырымбет, стал кровом для пришлых людей? Почему переселенцы заполняют просторы Сырымбета, бесцеремонно вторгаясь в наши земли? Почему мы, как напуганные овцы, сбились в кучу и жалобно блеем в ожидании? И ни правители наши, ни бии, ни волостные – никто не может защитить родную землю, в слабости своей заботясь только о себе, о собственном благополучии...

Ахан видел, что от бед и страданий народ совсем обессилел, смирился со своею участью. И судьба, одарившая его красотой, не соединила его с такою же красотой. Судьба не дала ему в спутники ни скакуна резвого, ни стремительного в полете беркута, ни прекрасного Сырымбета, ни красавицу Жамал.

Без Сырымбета он – сирота, без Жамал он – не певец. Ему осталось лишь страдать и скорбеть... Чем безогляднее изливал он свою тоску в звуках, тем стремительнее рождалась песня и успокаивалась его истерзанная душа. Он чувствовал, как песня отделяется от него, взмывает в небо, и будто не песня, а сам Ахан одиноко парит над землей, обозревая в своем вольном полете и Сырымбет, и всю неоглядную степь.

Люди слушали его песню «Сырымбет», замерев от восторга, проникаясь тоской и сожалением, вздыхали и печалились, и готовы были слушать и слушать ее бесконечно. И судьбу Жамал, отданной за нелюбимого, и тоску отчаявшегося влюбленного, хранившего память о своей несчастной любви, – всё-всё вобрала в себя эта песня. Люди не могли сдержать своих слез, слушая песню Ахана. Плакал и Ахан.

Песня разлетелась по всей степи. Ее заучивали, повторяли и передавали из уст в уста, она звучала повсюду, и вскоре не было в степи человека, не знавшего «Сырымбет» Ахана-серэ.

Жамал, накинув на плечи легкую шубку, сияла красотой. Когда она смеется, тонкие, выточенные искусным ювелиром серьги серебрятся рыбьей чешуей, покачиваются игриво и задорно, будто танцуют. Она вытягивает шею, подбородок ее дрожит, и похожа она в те минуты на простодушного, нежного мараленка, доверчиво поглядывающего по сторонам. Дыхание ее то спокойное и глубокое, то вдруг она вздрагивает от полноты чувств и неясного беспокойства. Дочь Жусупа торе, ласковая и нежная, напоминающая сказочных райских пери, стояла у повозки, с каждой минутой наступающего дня преобразаясь и становясь еще прекраснее.

Она уселась в серебряном окованную повозку. Покачиваясь, повозка пришла в движение, и Жамал вдруг стало страшно. Ее охватывает нехорошее предчувствие, она пожалела вдруг, что не простилась с Аханом на Косколе.

Когда она предложила: «Станьте мне братом», он сказал: «Нет!». Не захотел Ахан навязываться ей в спутники, не предложил проводить до дома жениха. Промолчал, когда Жамал послала ему свой ответ, не примирился с ее решением...

Молодежь, окружавшая повозку Жамал, как только отъехали от родных мест, принялась шутить, смеяться, петь песни, играть кюи. Вдруг раздался голос, будто оплакивающий отъезд Жамал, – зазвучала незнакомая песня. Все замерли, очарованные притягательной силой мелодии, выразительностью слов:

Аул твой в Сырымбете...  
Влюбился я в соколенка.

Жамал задыхнулась, справляясь с волнением, догадываясь, откуда догоняет ее песня.

Не остановилась ты, дитя мое,  
И нет лекарства для израненного сердца.

– Это песня Ахана, – сказали в повозке.

Сначала Жамал слушает ее легко, посмеиваясь и перемигиваясь со спутниками, делая вид, что ничего не понимает. Потом нахмурила брови, надупилась, как обиженный ребенок, замолчала.

Сестра моя, прощай, прощай!

При этих словах из глаз ее брызнули горячие слезы. Жамал приподняла шелковый полог повозки, смотрит на парня, который едет рядом, распевая во весь голос.

– Что, это песня Ахана?

– Да, это песня Ахана «Сырымбет».

– «Сырымбет»? Спой еще раз, – попросила она и опустила полог.

«Эта песня не о Сырымбете, это песня посвящена мне, – думает она. – Если бы он назвал песню моим именем, то молва разнеслась бы по всем караулатыгайцам и дошла до родни мужа, что не принесло бы добра. “Идешь ты на заклание к чужому роду...” Зачем он так? Он не знает родню мужа, не видел их никогда...

Но почему он не говорил ей о своих чувствах, почему она не догадывалась, что он любит ее?»

Она была в растерянности, мысли ее блуждали, словно жеребята на степных просторах. Не собраться ей с мыслями, не успокоиться. То присмирееет, возьмет себя в руки, то опять нахмурится, заволнуется. Опомнившись, заулыбается, заговорит, а потом опять уйдет в себя...

Чем ближе дом жениха, тем сильнее охватывает желание убежать, возвратиться в отчий дом.

«Если бы ты пришел за мной сейчас, пошла бы, не задумываясь, следом за тобою», – вырывается вдруг из сердца. Песня, вначале принятая ею легко, развеселившая ее, теперь заставляет страдать, метаться: «Что же делать? Может, мне вернуться?»

Она опускает глаза, скрывая слезы. Потом, откинув полог, смотрит на еле видневшуюся вдали вершину Сырымбета и, не сдерживая рыданий, подставляет лицо степному ветру, прощаясь с родными местами.

Она знает, что теперь никогда уже не выпадет ей дорога на Косколь, никогда не увидит она Ахана, не встанет перед ним, перебрасываясь шутками. Если даже и приедет в Сырымбет, то приедет чужой, – и чужой будет она для родных и близких.

То, что она обернулась и смотрит в сторону дома, не понравилось многим: что, дескать, она делает? Невеста, по обычаю, не должна оборачиваться, направляясь в дом жениха.

Жамал, не обращая внимания на перешептывания, без труда узнала парня, недавно певшего возле ее повозки, и заговорила с ним:

– Ты будешь в Косколе? – спросила она, краешком глаза косясь на попутчиков.

И, не ожидая ответа, вручила ему белый бешмет с серебряными пуговицами.

– Отвези Ахану-серэ. И не забудь эти слова: «Сестренка ваша не нашла суженого, но нашла того, кто понимает ее душу. Уезжаю с бесценным даром – вашей песней».

Жамал произнесла эти слова отчетливо-ясно. И, не задерживаясь, скрылась в свадебной повозке, опустив шелковый полог.

## НИКТО

Всю ночь не спалось, в голову лезло всякое, о чем только не передумала. Душа плакала, тосковала, металась... Всю жизнь не ценила она того, что есть, всю жизнь тянулась к несбыточному. Пока искала то, чего нет, потеряла, что имела. Теперь ворочается одна в постели, обнимает колени, свернувшись в клубок, – и вставать не хочется, и лежать уже невозможно. Попыталась собрать всклокоченные волосы, но они опять упали на плечи. Скрипнула зубами: обстригу!

В гневе своем она бывала страшна, всё в доме замирало от ее крика, все подчинялись ее воле. Теперь же, сколько ни злись, хоть завой в тоске, ничего не изменится. Мир вокруг будет привычно сверкать всеми красками.

Ей всегда казалось, что она бойка, красива, всем нужна. На деле вышло, что слаба, уродлива, одинока: бледное, с татарскими скулами лицо, злые слезы выдают холодную и жестокую душу. Она чувствует себя бездомной кошкой.

С юности ей хотелось прилепиться к кому-нибудь, прижиться, она лебезила, угождала, старалась понравиться. И тут же готова была хищно вонзить когти в обидчика, растерзать на части. Но она не была кошкой, она была женщиной, и теперь ей невыносимо горько от постигшего удара судьбы.

Подмяла под себя подушку, молча заплакала. Но не град слез, а лишь две слезинки вытекли из глаз. Наверное, обозленное сердце иссушило слезы, запекшиеся внутри. В душе ее клокотала ревность, хотелось вцепиться кому-нибудь в горло и душить, душить... Боже, не она ли всегда пыталась увернуться от неожиданностей судьбы, пройти осторожно по краю, но похоже, сама не заметила, как понесло ее, будто бычка за кольцо в носу, в водовороте жизни.

Задумалась... Ведь прежде она любила мужа. Почему же теперь возненавидела его, как самого заклятого врага, желая лишь зла ему? И почему у него самого сердце заледенело? Ведь когда-то нежностью наполнились их ночи...

Будто кто царапнул ее душевную рану, вскочила, как ужаленная. Потом уселась на дорогой пушистый ковер – часть богатства, которым завладела. Себя вино-

ватой она не считала. Во всем, что заставляет ее сегодня лить бессильные слезы, виноват кто угодно, только не она.

– Ушел, успокоился, наконец! – сказала, задыхаясь от ярости. – Говоришь, полнобил другую, – выкрикнула ожесточенно. – Как ты мог полюбить кого-то, когда есть я?

Вытянула шею, напрягшиеся жилы вздулись, складки обвисшей кожи затряслись. Вспомнила, как, услышав от мужа: «Я ухожу, дай мне свободу», – хохотала до слез. Издевательский смех ее означал: «Да кому ты нужен? Уходи, уж я-то одна не останусь».

– Найду себе подходящего, буду жить припеваючи, – говорила она, планируя будущую свою счастливую жизнь.

Возбуждаясь от этих мыслей, кричала:

– Да, да, иди! Но только все нажитое останется мне. Нитки из дома не возьмешь. Будет богатство в целости, и счастье никуда не денется!

И вот сохраненное, оставшееся ей добро... Все как новенькое, блестит, сияет, словно только что купленное. В последнее время дочь с зятем все чаще и чаще, во время редких посещений, стали любоваться, восхищаться мебелью. Тогда она сказала: «Ладно, забирайте!». В тот же день, радуясь и торопясь, они вывезли свой гарнитур. Но многое еще осталась от былой роскоши в доме. По-прежнему стоит больших денег, но, кажется, только теперь она, бедная, начинает понимать, что нет для нее ничего дороже ушедшей жизни.

Подскочила, открыла инкрустированный сундучок. Увидела свои бриллианты, золотые браслеты. Долго, прищурившись, разглядывала их, вздохнула: «Думала, что только меня бросили, но вы тоже, как после поминок, потускнели». Рывком закрыла сундучок.

Забыла даже о своей привычке надевать на пухлые пальцы перстни, подолгу поглаживать их, млеть от удовольствия, любуясь драгоценными камнями. Она затосковала по прошлому, по прежней их молодой, беспечальной бедности. Перед глазами ожили счастливые минуты ее жизни с мужем, как сэкономили на всем, растили детей, делили черный хлеб, радовались и веселились. Оживленно переговариваясь, заканчивали домашние дела и укладывались спать на подаренный свекровью старый войлок, беспечно толкая друг друга.

Кстати, свекровь... Вот с чего все начиналось. Она частенько не открывала дверь, когда мать мужа приходила навестить своего единственного сына. Не хотела брать постаревшую свекровь в дом. Оправдывалась: «Ещё запачкает мебель, сломает или разобьет что-нибудь. Не привыкла она жить в таких хоромах. Болтает невесть что. Стыдно перед гостями». Уговорила мужа, и тот отступился, отдалился от матери. «Да, черт меня попутал», – хмыкнула не к месту. За долгое время это было первое подобие смеха. Одернула себя: «Что тут такого, мои сверстницы все стеснялись аульных апашек».

«Но все-таки причина в другом... – старалась доискаться она. – Почему муж, прожив со мной тридцать лет, бросил меня? Почему он так стремился уйти, покинуть семью? Устал... От чего устал? От моего строптивного нрава? Выходит, нашу совместную жизнь он считал неудачной. Захотел жить по-другому. Захотел быть счастливым... А о моем счастье он подумал?!» – последняя мысль пронзила ее жалостью к себе, несправедливостью случившегося.

С подвываниями и всхлипываниями, на коленях она подползла к мягкому ковру, скрючилась на нем, подтянув колени к груди. Ей хотелось заплакать, лицо

ее сморщилось, но слезы не шли. Ей хотелось завывать в голос, как на поминках. Осознавая и признавая себя брошенной, она стонала, каталась по полу, корчилась в судорогах, будто ее отравили. Душа ее неистовствовала. Она рвала на себе одежду, борясь с собой, не в силах найти ответы на мучившие ее вопросы...

Но ответов не было. И по своему обыкновению, соскочив с ковра, она в бешенстве, с пеной на губах, начала кричать:

– Что я только не пережила, чего не натерпелась от тебя! Детей растила – я воспитывала – я. Жили в бедности, но я терпела. Сколько раз ты оставлял меня. И каждый раз я прощала. Сказал, буду учиться в столице – учился. Сказал, буду пить – пил, сказал, хочу жить один – уходил. А теперь и вовсе ушел...

Постепенно голос ее стихал, становился все глуше и глуше:

– Очень мне тяжело, что ты ушел от меня. Боже мой, кто я теперь без тебя? Никто. Как мне пережить твой уход?

Тяжелый подбородок задрожал, она всхлипывала:

– И никто мне больше не нужен, кроме тебя. Никто. Дети кажутся чужими. Всё нажитое добро, сама жизнь не имеет смысла: замерла, остановилась, опустела. Ничто не радует меня.

Она сглотнула, сдерживая рыдания. Никогда до этой минуты она не признавала загадочной закономерности возвращения содеянного, которая теперь заставляла склонить голову, пасть на колени. Ей ничего не надо было, кроме денег и достатка, теперь же она молит Аллаха, чтобы он вернул ей мужа. Никогда она ни о чем не просила, не унижалась, теперь шепчет заклинания и молитвы, сердце по-настоящему ноет, она отрекается от всех благ и богатства, просит ушедшего только об одном:

– Вернись! Будем вместе, будем жить хоть в пещере, я на все согласна, будем счастливы с тобой, – сердце готово разорваться, из груди рвется крик. – Вернись!

Опустила глаза. Опомившись, попыталась взять себя в руки, подняла голову. В эту минуту кто-то открыл дверь. Она обрадовалась, но тут же по привычке нахмурила брови, выкатила глаза:

– Пришел муженек. И правда, кому он нужен. Побродяжничал и пришел, мыча, как теленок. Никому не нужен, вернулся. Несчастный. Я покажу тебе, кто есть кто...

В дверях появился сын дочери. Он еле волочил за собой тяжелую сумку. Она замерла от неожиданности, не находя слов.

– Ты, что ли? Что случилось? Кто тебя звал? – спросила, наконец, недовольно.

– Родители сказали: «Поживи с бабушкой, присмотри за ней, чтоб не заболела».

– Не-е-ет. Скажи отцу, пусть воспитывает своего сына сам. Видно, хочет квартиру переписать на тебя. Не надо мне таких наследников. Никто теперь со мной жить не будет. Скажи, что бабушка стала отшельницей. Вот.

Она стянула с головы платок. Волосы были коротко острижены. Загривок приподнялся, щетинится.

«Бабушка стала мужчиной», – подумал мальчик.

Она подтолкнула его к выходу, резко захлопнула тяжелую металлическую дверь, заперла на три замка.

Потом прошла к большому роскошному зеркалу.

В первый раз она обрезала волосы давно. Тогда муж, обнимая ее, пошутил: «Оу, если и было в тебе что притягивающее и волнующее меня, – это твои прекрасные косы. Теперь мне, бедняге, только и осталось, что сжимать в объятиях мужеподобную жену». Да, вид у нее сейчас ужасный. Мужчина... На ней брюки, делающие ее фигуру еще тяжелее. Зачем она надела их на эти расплзшиеся бедра. Нет и точеных плеч, они обрюзгли, заплыли жиром, а обвисший живот грозит достать до колен.

Более вчерашнего она испугалась своего вида в зеркале. Но тут же одернула себя: «Если я мужеподобна, так время такое. Если к выпивке не равнодушна, значит, могу себе ни в чем не отказывать, живу не хуже других. И кто же во всем виноват?! Ой, глупец! Ой, растяпа! Если что не нравилось во мне, почему не сказал, не настаивал на своем? Отрезала косы, – взял бы да отхлестал хорошенько, чтоб неповадно было».

Покачала головой, усмехнулась: «Это я могу пойти на неповиновение, на преступление, а ты и ударить не можешь. Самое большее, на что ты способен – бросить меня. У мусульман это называется – толлок.

Да, жизнь изменчива... Когда-то гордая, высокомерная, неприступная, никого не признающая, сегодня я – брошенная. На людях не могу показаться... Захотелось мне увидеть девушку, которую ты полюбил. Думала наказать ее, но, видно, Господь не допустил, не удалось добраться до нее. И здесь проиграла. Одна неудача за другой. Может, и мне хотелось, как некогда Сарре, ревнующей Ибрагима к Ажар, отрезать уши той, к кому ушел муж, вырвать ей ноздри. Это ты своим уходом пробудил во мне месть. Сжечь бы вас обоих за вашу любовь, наслаждаясь сладостной картиной того, как вы, чернея, превращаетесь в пепел...

“Любить – значит стремиться к возвышающей чистоте”. Кто это сказал тебе? Да будьте вы прокляты со своей чистотой! Но где тогда правда? Или на самом деле, любовь – это то, чего я не принимаю, что проклинаю, – стремление к чистоте помыслов и чувств? И только чистый душой и телом человек способен любить?

Но у брошенной своя правда. Знаешь ли ты, какое бешенство, какую ярость, упрямую в безднах души, ты возбудил во мне, полюбив другую? Теперь я брошена. А брошенная может делать все, что угодно. Может совершить любой грех, любое зло, любую несправедливость. Брошенная, она и есть брошенная. От брошенной добра не жди. Брошенная... Вне общества, вне человечности... на обочине. И судить ее не может никто».

Взяла в руки блестящую бритву. Посмотрела критически на себя, превозмогая желание полоснуть по обвислой шее. Поднесла острое лезвие к началу волос, провела по голове, оставляя светлую полосу ото лба к затылку. «О боже! Неужели изначально не было во мне ничего женского, не было нежности, не было доброты? Или я сама уничтожила в себе все хорошее, что было от природы? Влекомая дурными страстями, лишилась самого главного? И хоть имя мне – женщина, обликом ныне я похожа на мужчину».

Она подошла к зеркалу, взгляделась в свое отражение: «Вот так должна выглядеть отшельница. Внутреннее должно соответствовать внешнему». Если душа сжимается от страха, значит, он должен выразиться и внешне. Чтобы жить, никого не видя, надо принять соответствующий облик. Только тогда люди поймут несчастье брошенной, тайну жизни брошенной. «Вот теперь я настоящая брошенная», – сказала она, глядя на себя в зеркало. Увидела свои большие, торчащие

уши, ставшие еще заметнее без волос, красные от слез, заплавленные глаза, – и еле подавила вновь шевельнувшийся в душе страх.

...Фигура в зеркале приняла привычную позу, уперев руки в бока, приблизила к блестящей поверхности лицо. Брошенная, гримасничая, усмехнулась, хихикнула, подмигнула самой себе. Как бы теперь эти двое, объединившись, не наделали беды. Смотрят друг на друга, будто хотят познакомиться поближе, подружиться. Показывают друг другу язык, кривляясь, улыбаются, тянут руки друг к другу. Потом, будто испугавшись чего-то, проводят руками по голове, а кожа кажется мягкой на ощупь, как на головке младенца, еще неразумного, у которого родничок не зарос... так и у нее череп мягкий, того и гляди, осядет под грузом руки. Брошенная посмотрела на уродину в зеркале и захихикала. Двое указывают друг на друга руками, повторяют движения, без усталости хохочут. Как бы сойдя с ума, то плачут вместе, то смеются.

## ТЫ САМ

*Акиму Тарази*

Не поднимая глаз, сутулясь, бредешь ты по улице. Ты согнулся под тяжестью беспросветных житейских передрыг, тебя уже не узнать. Ведомо ли кому, что ты давно перестал им сопротивляться, плывешь по течению, и вся твоя жизнь – цепь нелепых случайностей. Вот ты отчужденно оглядел снующую взад и вперед толпу, оглядел и резко остановился. Застыл как вкопанный. Словно инопланетянин, с изумлением разглядываешь ты людей, которые ворчат, наткнувшись на твою застывшую фигуру, обходят тебя стороной и устремляются дальше.

Вот ты и вовсе закрыл лицо руками. В щель между раздвинутыми пальцами ты следишь за окружающими, словно опасаясь чего-то. Движущаяся толпа постепенно замирает, люди застывают, будто окаменев. В страхе ты отнимаешь ладони от лица, удивленно вглядываешься: «Боже, что это с ними? Только что люди текли в разных направлениях, и вдруг все обратились в камень...»

Твои размышления прерывает зазвеневший издали голос. Запутавшись в своих мыслях, ты переводишь взгляд на женщин в парке. Еще звенит их смех, то ли нарочитый, то ли издевательский, а вся их такая оживленная группа уже застывает в самых нелепых позах.

И всё вокруг тебя превращается в каменные изваяния. Любуясь ими, ты негодуешь, негодуя, любишься. Негодуешь оттого, что тебе ненавистна эта безразличная ко всему тупая толпа, но ты любишься ею, обратив в недвижные образы. Только что люди смеялись, безмятежно сидели, ходили, и вот все они, – всё это жизненное пространство, полнившееся беспрестанным движением, – всё-всё застыло безжизненной картиной. Это твоя сила воображения, твои чувства и фантазии, переплетаясь, становятся преградой для яви. Но не она ли, не эта ли сила воображения угнетает твое сознание, мучая тебя и делая несчастным.

Ты засмеялся, гримасничая, ухватившись за эту мысль:

– Говорю о Репине. Негодный старик. Знаешь ли ты, что он сказал, оставившись на меня: «Несчастное дитя, как ты это сделал?! И как ты после этого живешь в этом мире? Это же удивительно, поразительно... о, несчастный». Что за манера у старика? Встретится ему талантливый ученик, так он начинает махать руками

и без устали твердить: «О, несчастное дитя!» Откуда знать этому бестолковому старику, что счастье лежит у моих ног, что я владею целыми мирами, что я заблистаю в великих созвездьях рядом с Домье и Руо, Утрилло, Курбе, Пикассо. Почему он не чувствует... не осознает, кто я...

Остановился, замолчал. Взмахнул было вдохновенно руками, будто пытаюсь взлететь, но тут новая мысль вихрем накрыла тебя, так что горло перехватило. Помрачнел, с сожалением отмахнулся неведомо от чего, будто говоря: «Всё зря всё напрасно!»

– Старик оказался пророком, – сказал, судорожно сглотнув. – Бог дает талант и делает великого подвластным бездари... Меня, в воображении парящего в небесах, мыслями способного обнять весь мир, Бог всегда возвращает на землю. Стопы мои приковал к земле, свободную душу мою подчинил плоти. Поэтому и несчастен я...

И неожиданно заливаешься безудержным детским смехом, – до слез, до колик в животе.

– Пойдем, пообедаем вдвоем.

Поплелась следом. Одежда на тебе – рванина в подтеках краски, на огромном берете с красным верхом торчит птичье перо, через плечо висит сумка, обыкновенная холщовая сума. Ты и впрямь как с неба свалился, не от мира сего. Да и сам все время твердишь, что спустился с небес: «Душа моя – в небе, плоть – на земле». Люди смотрят на тебя в удивлении, а ты и рад этому. Отвешиваешь поклоны:

– Это я... Это я вышел на улицу... Я – единственный среди вас стоящий человек.

То ли шутишь, то ли впрямь так считаешь. А глаза хмурые из-под нависших бровей.

Приостановился, посмотрел на меня, нехотя идущую следом, посмотрел недовольно. Показываешь взглядом, что я должна поторопиться. Почему я так ненавижу тебя? Толпа заворожено смотрит на тебя, не в силах оторвать глаз.

Кто-то тычет рукой:

– Посмотрите на него, клоун, настоящий клоун... Ой, глянь, что за походка!

В толпе переглядываются. Кто-то снисходительно смотрит на чудака, кто-то высокомерно оглядывает с головы до ног. Ты чужой им, ты непонятен им. А тебе только этого и надо!

Боже мой, ты идешь широкими шагами, короткие штанины развеваются на ветру, позвякивая колокольцами, ты не поспеваешь за быстрым ходом своих мыслей, и тебе весело от этого. Никто не знает, какие гениальные диалоги ты ведешь сейчас с самим собою!

Твоя непохожесть возбуждала смех, ты слыл клоуном, шутком, пересмешником. Но ты был недосягаем для насмешек, недоступным для критики, скрытым от мира в клоунские балахоны гением, которому не нужно ничьего признания. И уж тем более моего. Не потому ли я так тебя ненавидела?

Ты презирал эту толпу, которая ничего не могла тебе дать, и сам был ею презираем. Как только ты попадался ей на глаза, она оживлялась в предвкушении очередной потехи или скандала. Каждый из этой толпы считал возможным поучать тебя, а ты еще более чудачил.

– Я, я... Сергей Иванович Калмыков! Будем знакомы, не пожалеете... – говорил ты облепившей твой мольберт любопытной толпе: ведь больше всего ты любил работать на улице, словно фокусник виртуозно взмахивая кистью от холста к

палитре и обратно. – Перед вами – собственной персоной – Сергей Иванович, истинный возлюбленный прекрасной женщины по имени Искусство!

Ты пикируешься с задирающей тебя толпой, и вдруг, взглядевшись в двух-трех зазевавшихся прохожих, которые слушают тебя, разинув рты, резко замолкаешь. На твоём лице – выражение ужаса и отчаянья. В глазах твоих слезы, ты не знаешь, куда деться, срываешься с места, в панике оглядываясь по сторонам.

Ты мчишься стремглав, будто созданная твоим воображением картина вдруг ожила и тебя преследуют ее фантазмагорические образы. Вздурораженный, ты оборачиваешься. Толпа хохочет. Хохот грубый, бездушный... – где-то ты уже слышал такой?! Люди бросились было за тобой, но не догнали. В сознании остались их руки, пытавшиеся схватить тебя, много тянущихся к тебе уродливых рук...

Разве дано толпе понять твоё искусство?

Ты дал жизнь фантастическим мирам, показал людям космизм их пути. Искусству, которому поклонялся как раб, ты отдал душу – вклад, который никто не заметил.

Дверь низенького дома, стоявшего на пустыре, заскрипела, с трудом отворилась. Я пришла к тебе. В одной рубашке, в упоении, с мелькающими руками, – ты в работе. Сырая темная комната кажется тебе сияющим дворцом. Лицо покраснело, ты увлеченно творишь. Анфилады астральных сияющих коридоров возникают на полотне. Сверкнув глазами, посмотрел на меня.

– Когда пришла? В следующий раз, войдя в комнату, не стой молча! Дай знать мне, что ты здесь. Я ведь иногда, думая, что один, могу позволить себе... – и раскатисто захохотал.

Не понимаю иногда твоего неуместного веселья. Вроде бы и смешного ничего нет, а ты заливаешься. Но быстро прерываешь свой смех.

– Иди сюда...

Открыл белое покрывало. Я взглянула – и закрыла глаза, потому что у меня закружилась голова. Море. Картина, будто живая, хлынула волнами. Слышен их шум, шелест, смех, потом доверительный говор, тихий шепот. Вдруг, будто рассердившись, волны с гневом вздымаются вверх и резко обрушиваются вниз. Душа уходит в пятки, я испугалась моря. Захлебнулась, не в силах дышать. «Умираю», – сказала я. Никогда в моей жизни я так не терялась у картины. Ты внимательно наблюдал за моими страданиями.

– Понравилось? Что же ты так...

– Море живое. Стало страшно, когда ощутила его живым.

Ты отвернулся и заплакал.

– Вот именно этих слов я жду от людей. Это лекарство от неуверенности моей. Ну, детка, сегодня я получил высокую оценку от тебя. Все сущее, все предметы обладают живым началом. Мне нужно, чтобы в искусстве была жизнь. Это не каждому удастся. Вдохнуть душу в людей – величие Творца, дать жизнь искусству – величие Художника.

– Ты для меня загадка.

С удивлением посмотрел на меня:

– Я же тебе об этом тысячу раз говорил. Я воплотившийся дух Леонардо да Винчи на земле. Чувства мои и фантазии дарует небо. И информацию я получаю оттуда же. Он тоже в небе. Я говорю про Леонардо.

– Вы когда-нибудь любили?

– Я и сейчас влюблен в одну прекрасную женщину, имя ей – Искусство. Надменная, высокомерная, в зрелой красоте своей она выбирает лишь достойных. Я хочу служить ей, во всем угождая, всеми силами своими, всем даром своим обогащая ее и возвышая...

Внезапно прервав себя дурашливым смехом, сказал:

– Я хочу быть настоящим возлюбленным бабы по имени Искусство. Если она, эта продажная девка, примет меня, поверь, я смогу насладиться всеми прелестями ее божественной плоти.

Сорвавшись с места, устремился к окну. Остановился, застыл. Будто и не думает двигаться это безжизненное тело.

– Что случилось? Что ты увидел? – кинулась к нему, глядявываясь в направлении вытянутой руки.

– Ты заметила? Вон там, видишь? В фэтоне сидит девушка и латает носки Леонардо да Винчи. Хэ-хэ-хэ, – плечи затряслись от смеха, не можешь остановиться.

А я, бедная, вовсе не вижу чуда, приведшего тебя в восторг. Посмотрев на тебя, снова глядявываясь туда, где тебе привиделась необычная картина. Но нет, ничего там нет.

Босой, трясущийся от холода, поднимаешь белую тряпицу на мольберте. Ты похож на человека, который настраивает свою душу и мысли перед молитвой, ищет необходимые слова. Мне хочется быть рядом с тобой, но чувствую, что ты уже далеко отсюда. Между нами расстояние, – непреодолимое расстояние. Чем более ты поднимаешься ввысь, тем сильнее я ощущаю свою ничтожность внизу. Я продвигаюсь к порогу, все дальше и дальше, и вижу твое чистое, детское лицо. Да, вижу чистое, невинное лицо... беззащитные твои глаза.

Этот серый дом, это безрадостное нищее существование чуждо мне, кажется нестерпимым. Некое холодное, ознобное чувство толкает в грудь, проявляя свой свирепый нрав, кричит: «Иди отсюда!». Наверное, я замешкалась, остановилась. Ты не сказал мне: «Останься». И я в ответ не произнесла: «Хорошо, останусь». Стремглав выскочила за дверь и побежала прочь. Но... частица моего сердца осталась там, рядом с тобой. Чувствую эту соединенность и все время чего-то жду.

Ты вменяешь в вину толпе ее бездарность, неспособность понимать, осознавать то, что доступно тебе, ты с опаской смотришь на нее, но в этой толпе нахожусь и я. Однажды ты сказал: толпа не стоит наших возвышенных слов. Толпа – слепая, глупая, дика, глумлива, бесчестна. Толпа – жертва существующей действительности. Художник ничему не может научиться у толпы. Нужно время, чтобы толпа очеловечилась, стала гуманной, в ней самой должен созреть художник... Тот долгий разговор, твой тревожащий облик стоит передо мной, не покидая. Каждое слово, произнесенное тобой, было продуманным и точным.

Речь твоя незатейлива и проста, ты не переносишь словесных изысков, любишь точные и емкие слова. Сложность изобразительной лексики ты оставляешь своим картинам и рукописям. Создаваемые тобой образы, твое искусство не приемлет высокомерная власть, жестокая в своей правоте непонимания. Ты обмолвился как-то: «Искусство и власть – соперники, конкуренты».

– Поэтому, дитя, там, где свирепствует власть, искусство влачит жизнь в нищете, прозябает на низшей общественной ступени. Хотя о какой жизни я говорю? На самом деле, там, где власть, искусство умирает. Почему Папа запер Данте

в психушку? Поэта продержали долгие годы в темных застенках... И он ослеп. Это враждебность тупой власти к красоте.

Расхохотался, довольный собой, продолжил:

– Искусство не склонит головы перед насилием и властью. Пусть она даже не пытается подчинить себе художника. Скажу больше, власть должна служить художнику. Свободный от житейских нужд беззаботный художник должен жить в своем мире и творить свое искусство. Только так, в сосредоточенном служении можно создать шедевр и подарить его миру. И только тогда глупая толпа согнется в поклоне и, выпучив глаза, признает непостижимую власть и величие искусства.

Опять сумасшедший смех прервал мои мысли. Может, именно этот непотребный смех отдалил меня от тебя. Что это за смех? Умные, глубокие слова и внезапный обескураживающий смех. При этом на улице в толпе ты неулыбчив, хмур, настороженно-неприступен в своей высокомерной независимости. Мне кажется, что есть какая-то тайна, скрывающаяся за этим смехом, дразнящим то ли меня, то ли тебя самого.

А есть еще безудержный, беззаботный мальчишеский смех... И в этом весь твой невинный, чистый, сродни детскому, нрав, который сохраняется навечно у наделенного величием таланта...

Почему этот безрадостный, одинокий, обшарпанный дом так дорог мне? Чем привлекла меня жизнь этого странного существа, беспокойной его души? Почему я отрываюсь от своего круга и спешу сюда? В веселые, счастливые дни вдруг настигает меня печаль, и я мчусь к тебе.

Кругом беспорядок, хаос... Везде картины – на стенах, на полу, на потолке. И картонки, и обложки книг – всё-всё покрыто твоими рисунками. Рисунок – мой метод думать, – говоришь ты. Как с силой прорвавшийся в скалах, откуда ни возьмись, родник, в твоих картинах безудержно бьёт волшебная сила фантазии, и ты, увлеченный ею, уже не можешь отличить день от ночи, явь ото сна... Потускневшие глаза, усталый вид.

– Почему ты невесел? – присела я перед ним, обняв колени.

– Я в театр работать хожу вместо того, чтобы писать свои собственные композиции. А толку что? У меня ведь порой нет денег на бумагу, холст, краски... Ах, погибает искусство! Ругают: шарлатанство, абстракция! Стараются все обесцветить, не понимают, что этим снижают силу жизни! Отучают смотреть на чистые цвета, а глаза надо тренировать. Мир цвета отражает мировое пространство... Вот, смотри, иллюстрация к «Фабрике бумов». Читать только здесь, выносить нельзя!

На квадратном картоне красочная масса как бы раскалена огнем, как бы плавится, становясь густой цветовой гаммой. Твои пейзажи и мифологические сцены залиты светом космических миров. Все преобразено таинственным и чудесным образом, всё здесь – миф и магия.

– С помощью зрения мы перекинем нашу психику в счастливые миры пространства и времени. Самые тонкие переживания ожидают нас в области зрительных ощущений... Некоторые выбирают легкий путь, я же стремлюсь к беспредельности выражения. Хотя всегда кругом меня будут ходить сонно-равнодушные люди, вовсе не интересующиеся тем, что все это сделал я, Сергей Калмыков, который видел иные миры...

Ты говоришь и говоришь. Слезы льются у меня из глаз, и остановить их невозможно. Я задерживаю дыхание, глубоко вдыхаю, хочу скрыть от тебя свое состояние.

– Никогда нищета не подчинит мой дух, не проберется в мои картины. Напротив, я всегда побеждаю ее. Насколько непривлекателен я сам, настолько роскошно и возвышенно мое искусство.

Захотелось прервать твои мысли.

– Сергей Иванович, в вашем доме часто разгуливают голые женщины.

– Ой, разве только женщины приходят ко мне? Мужчины тоже могут ходить голыми. Как древние вавилоняне. Разве можно скрывать красоту? Это чудо. Я против разделения полов. Не надо сеять рознь между людьми.

Подвел меня к окну.

– Посмотрите, листья замерзли от холода, потом они свернутся. Такую красоту вы никогда не увидите. Желто-черные, будто подернутые ржавчиной, красно-желтые... нежного окраса... чуть-чуть проглядывает зеленый цвет. Нет искуснее художника, чем Природа. Как она смешивает краски, как щедро в своем великолепии. Посмотри, души листьев дрожат.

На глаза навернулись слезы. Словно женщина, принесшая на свет божий младенца и растроганно, нежно, с любовью всматривающаяся в него, так и ты был растроган и упоен своими наблюдениями и чувствами. Мне захотелось остаться с тобой. Ты ни о чем не догадываешься, ничего не чувствуешь, но я знаю, ты не сделаешь мне такого предложения. Твоя плоть, твоё сознание, твоя душа отличны от моих, подчинены совсем иным переживаниям. И оно, это различие, с каждым разом всё более притягательно, и, наверное, скоро привяжет меня к тебе своим безыскусно сплетенным арканом бесповоротно.

Ты подскочил к столу, с жадностью отпил кефир из бутылки, сунул кусок хлеба в рот и начал жевать. Глаз не отрываешь от картин, которые успел написать.

– Негодный старик. Про Репина говорю. Увидел его на выставке мирискусников двенадцатого года, – маленького, дряхлого, но очень беспокойного. Ходил от полотна к полотну и все повторял: «Ах, несчастный! Ах, несчастный!» – о каждом художнике. Так и не узнал, что я достиг вершины счастья. Будь я несчастен, смогли бы я создать такие неземные творения! – пристальный, пронзительный, воспаленный взгляд в упор, отталкивающий и гипнотизирующий.

Однако я вырвалась и вернулась к своему привычному, приземленному, примитивному кругу, к прежней толпе.

Я радовалась, что ты свободен от толпы, в которой жизни всех похожи одна на другую, и люди, по твоим словам, просты, как табуретки. Они не могут жить без зависти, без клеветы друг на друга. Они бы не оставили тебя в покое, они бы допекли тебя своими разговорами, сплетнями, довели бы до исступления, растащили по кусочкам, уничтожили без остатка. Я хотела стать тобой. Но быть тобой – значит обречь себя на несчастье. Быть тобой – жить в нищете. Быть тобой – быть вечно одинокой. Быть тобой – создавать великое искусство силами отрешенной от всего житейского души. Ты выше не только толпы, ты смог возвыситься над самой природой человеческой, над самим собой.

Сплетни толпы, от которой ты оторкся, обрушились на тебя злым и бесполезным осенним дождем.

«Этот несчастный клоун, говорят, поджег свой дом», «ой, да он сошел с ума, начал писать картины экскрементами», «спасаясь от голодной смерти, лег в психушку», «давно уже психушка по нему плачет». Толпа, над которой ты всегда смеялся, совершенно не считаюсь с ее мнением, теперь торжествовала, чувствуя себя победительницей.

Да, это правда, ты теперь живешь в сумасшедшем доме на окраине города. Ты наслаждаешься вкусом горячей пищи. Пока тебе поставили диагноз «шизофрения». Увидел меня, обрадовался, летишь навстречу. Сияешь, будто из покоев царских вышел.

– Сергей Иванович! Да что же это такое? Что случилось? Так все неожиданно...

– Молчи... Новостей много. Начал писать диссертацию. Сделал эскиз, как швы соединяются и держат череп. Запомни: череп никогда не начинается с мозга. Он начинается со швов. Мельчайшие, еле видимые глазу, геометрически мелкие черточки выполняют огромную работу. Восхитительно. Ум человека, память, другие его способности – это все функционирование швов, не мозга. Мозг работает благодаря им. По ним течет кровь, как родниковая вода. После смерти человека швы исчезают, а череп остается. Порядок в нашей жизни, организация всего – от соединительных швов. Знаете ли вы это? Почему вы плачете? Вы не согласны со мной?

– Сергей Иванович! Вы гениальный художник. Почему вы так несчастны?

Подозрительность твоя вмиг рассеялась, твой острый, изворотливый ум зацепился за нужное слово:

– Гениальный... Это просто термин из лексикона ученых и людей искусства. Не пугайтесь этого термина. Гениальность никого ни к чему не обязывает и ничем не нагружает. Гении – обычные люди, жизнь их проста. От гениальности не вырастают крылья, не появляются рога. Вот я стою перед вами. Гений. Нет никакого повода опасаться меня. Мы прекрасные, веселые люди. И я простой человек, к тому же бедный. Люди думают, что гении – богачи, швыряющие деньги направо и налево, что их слава и почет растут с каждым днем, что каждая страница их рукописей – это пачки ассигнаций, что все расступаются перед ними, отвешивая им поклоны. Но мы знаем судьбу настоящих гениев. Штаны у них превратились в лохмотья, носки дырявые, пальто вытерто от долгой носки, – перед вами человек, которому недалеко до нищеты, настоящий бедняга.

Гениальность, детка, это биологическая трагедия. И она индивидуальна, каждый раз не похожая на другие, она не повторяется. Поэтому этих бедолаг ненавидят, преследуют. «Какой он гений, ни денег у него, ни работы. Да его и не знает никто!», – смеются глупцы, с презрением указывая на изгоя.

Гений – это всегда вспышка, открытие. Это – Ньютон! Гениальность – сама в себе целая академия. А есть еще злобные неудачники, мнящие себя гениями, – но им никогда ими не стать...

Гениальность – случайное соотнесение многого с ничтожно малым... Гений – это характер, который не прельщается мелкими радостями, трудится день и ночь, не поднимая головы, оставаясь непризнанным; он легко расстраивается и быстро утешается. Гений – это внимание, гений – это рассеянность. Он не замечает сам себя, не ценит своих достоинств, не видит недостатков, он не щадит себя, в слабости и смертности своей черпает бессмертие и силу.

Гениальность – золотой кинжал в руках босоногого бедняка. Нет у него ничего, кроме этого золотого кинжала...

Я ухватила тебя за шиворот, когда ты хотел отвернуться.

– Я хочу быть рядом с вами. Позвольте мне быть рядом. Освободите меня от толпы, от фальши этого мелкого существования.

Ты посмотрел на меня с удивлением.

– Ты сумасшедшая? Одиночество я вымолил у Бога. Кроме одиночества всё тщетно, всё недостойно, всё прах. Возвращайся домой. Держись подальше от несчастий! Возвращайся, иди! Иди, иди, быстрее иди домой.

В этот раз ты плачешь... Как ты прекрасен, когда плачешь... Лучше, чем когда хочешь.

– Гениальность не делает человека счастливым, – говоришь ты, прощаясь. – Не приходи больше сюда.

*Перевод Любови Шашковой*

---

*Роза Кажыгалымкызы Муканова родилась в ауле Колденен Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Окончила факультет журналистики КазГУ. Работала в Центральном государственном музее, Союзе писателей Казахстана, Министерстве информации и общественного согласия и Секретариате Сената Парламента РК. С 2011 года – профессор Казахского национального университета искусств.*

*Автор сборника рассказов «Жарық дүние», книг «Дүние кезек», «Шатыр астындағы мен», словаря «Құдірет кие», двухтомного собрания сочинений. Ею впервые переведена на казахский язык книга Рабгузи «Кисса-сул-Энбий-я». Автор драм «Мәңгілік бала бейне», «Сарра», «Фариза», идущих в Нур-Султане, Алматы, Москве (в 2019 г. в театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Фариза» на казахском языке с синхронном на русском), а также «Муза», «Мысықтар патшалығы», «Шатыр астындағы Мен», «Ешкімде қиналы емес» и других, составивших недавно вышедший однотомник. По мотивам рассказа «Мәңгілік бала бейне» С. Нарымбетовым и А. Тарази (сценарий) снят фильм «Қызжалаған», отмеченный на многих международных кинофестивалях.*

*Заслуженный деятель РК, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, премии имени Т. Айбергенова, международной премии «Алаш», награждена медалью Франса Кафки в Праге, медалью Ассамблеи стран СНГ «За заслуги в развитии культуры и искусства», нагрудным знаком Министерства культуры и спорта «Отличник культуры» и другими.*

